

*Искусственный
интеллект*

Они мертвы — женщины, которых я любил, друзья, брат и сестра и, помимо них, родители, тетки и дядья. Много лет назад я ходил на похороны часто, потому что тогда умирало предшествующее мне поколение, потом — редко, а в последние годы — снова часто, потому что умирает мое поколение.

Я долго считал, что похороны помогают расстаться с умершими. Расстаться нужно: осознание того, что человек умер, остается тревожащим, пока свершившееся расставание не поможет обрести покой ему и тебе самому. Но похороны не помогают. Похороны убеждают близких в значении умершего и выделяют каждому малую толику этого значения. Похороны убеждают скорбящих в достоинстве ритуала, ради которого жертвуют двумя или тремя часами, во время которого смотрят скорбящие и смотрят на скорбящих, отдают последние почести умершему и выражают соболезнования близким; похороны придают некоторое достоинство и скорбящим. Но расстаться с умершими похороны не помогают.

Помогает присутствие при умирании. Даже то, что я пришел к отцу, когда он уже умер, но еще лежал на кровати и им еще не занялись агенты похоронного бюро, — помогло. Ему не закрыли глаза и рот;

и эта картина — отчаянно распахнутые в смертельном ужасе глаза и оскаленные зубы — врезалась мне в память. Он был мертв. И когда покойник обряжен, лежит в гробу на возвышении и кажется уже пластмассовым, а не из плоти и крови, — даже и тогда его смерть говорит так ясно, что ты понимаешь: нужно с ним расстаться.

Но то, что ты это понимаешь, еще не разлучает. Разлучает только время. И вот что странно: чем меньше ты соприкасался с человеком в годы, предшествовавшие его смерти, тем дольше длится расставание с ним, а чем больше соприкасался, тем оно быстрее заканчивается. Я слегка приятельствовал с моим соседом; время от времени мы сходились за стаканчиком вина: летом он меня приглашал на свой балкон, зимой я его — к моему камину, и поскольку по утрам мы выходили из дома в одно время (он — в пекарню, а я — к газетному киоску), то мы почти ежедневно встречались на лестничной площадке. Именно поэтому, когда он умер, я через пару дней ясно осознал, что эти встречи и приглашения — в прошлом и что он мертв. Я расстался с ним, и хотя все еще был печален, но это была спокойная печаль — боль после свершившегося прощания, прощальная боль.

Совсем иначе было, когда умерла моя бывшая жена. Она со своим вторым мужем уехала в Чехию и осталась там после его смерти. Мы сохраняли дружеские отношения и дважды в год встречались, весной — там, а осенью — здесь, и после ее смерти мне долго представлялось, что она по-прежнему живет, только где-то еще дальше. Она умерла в апреле, через несколько недель после моего посещения, и в последующие месяцы она присутствовала в моей жизни —

или не присутствовала в моей жизни — так же, как в предшествующие годы. Я по-прежнему временами думал о ней, вспоминал что-то из нашей с ней жизни, что она сделала или сказала, замечал себе что-то, что надо будет рассказать ей в октябре, когда она приедет ко мне, и даже мысленно рассказывал ей это, и при этом так явственно видел ее перед собой, что рядом с этим осознание ее смерти оставалось абстрактным. Только зимой я понял, что нужно уже с ней расстаться, и только в апреле следующего года я с ней расстался. И после этого долгого расставания я еще долго был печален, — собственно, совсем печаль эта так и не прошла, и она никогда не пройдет совсем.

С моим другом Андреасом я вообще не хотел расставаться. И его в годы, предшествовавшие его смерти, я видел редко; выйдя на пенсию, он переехал, снял маленькую квартирку в Баварии, где жил его сын Томас, а я остался в Берлине. Иногда мы путешествовали по Баварии, порой в Берлине выдавалась насыщенная концертная и оперная программа — или мы встречались на полпути: на докфесте в Касселе либо на Байрёйтском фестивале. Эти совместно проведенные дни всегда проходили прекрасно, живо, доверительно. Мы же друзья детства.

Но после своей смерти он присутствовал в моей жизни — или не присутствовал в моей жизни — так же, как до нее; и с ним тоже я продолжал диалог, словно нужно было только переждать какое-то время до нашей новой встречи. И если при жизни Андреаса я боялся, что наша дружба может вдруг оказаться под угрозой из-за какого-то обвинения, то диалог с мертвым Андреасом был безопасным. Мне уже не нужно было бояться никакой неожиданности, никакого изобличения, обличения. Мы снова были детьми, и я только желал, чтобы в этом состоянии невинности наша дружба продолжалась и продолжалась.

Не потому, что она не выдержала бы этого обвинения изобличенного. То, что я в свое время сделал и чем не приходится гордиться, чего я даже стыжусь — или чего я не должен стыдиться, потому что то, что я сделал, было лишь нечто человеческое, но мне бы все же хотелось, чтобы я этого не сделал, — Андреас бы это понял и простил мне и даже, может быть, сказал бы, что тут и прощать нечего, и что некоторые вещи просто так неудачно складываются в жизни, и что я всего лишь такая же жертва, как и он. Собственно, я уверен, что Андреас так бы сказал, обнял бы меня за плечи, и если бы мы где-нибудь шли, то какое-то время мы бы так и шли, ничего больше не говоря, и он бы обнимал меня за плечи, а потом он бы засмеялся, понимающе и дружески, и заговорил о чем-нибудь другом.

Почему я боялся изобличения, хотя его не должно было произойти? И не проще ли всего было рассказать Андреасу, что тогда случилось? Я каждый раз собирался это сделать. Но когда мы оказывались вместе, все это казалось слишком неуместным, слишком давним, не подходящим к нашему настроению или к нашему разговору, и не было никакой разумной причины начинать это вот именно теперь. При прошлой встрече я этого не начинал, и я вполне могу начать это при следующей — так почему именно теперь? Так проходили годы, и почему я боялся, хотя не должен был бы, я не знаю. Потому что Андреас, может быть, все-таки не понял бы? Но я понимал, почему это тогда так вышло, а он, собственно, всегда понимал то, что понимал я.

Но каковы бы ни были причины моего страха, страх был, и когда он исчез после смерти Андреаса,

это стало для меня облегчением. Я не верю в какую-то жизнь после смерти, и то, что Андреас не узнал на земле, он не узнает и на небе — или в преисподней. Наша дружба продолжалась, и если до его смерти она жила в наших мыслях и наших встречах, то после его смерти она продолжала жить уже только в моих мыслях, зато безбоязненно. Смерть Андреаса была не беспокоящей, а успокаивающей. Так почему я должен был расставаться с ним?

Нет, наша дружба продолжала жить не только в моих мыслях. Я увидел Лену, дочь Андреаса, вскоре после ее рождения, видел, как она растет, любил ее. Она всегда была участницей наших встреч — и когда я после ранней смерти Паулы, жены Андреаса, заходил навестить его, Лену и Томаса, и когда он навещался из своей Баварии сюда, в Берлин, где осталась жить Лена. Мы с Андреасом шли гулять и потом ужинали уже вместе с ней, или мы шли гулять вместе с ней, а потом оставались вдвоем с Андреасом. После смерти Андреаса мы с Леной иногда договаривались поужинать вместе, или сходить на концерт, или погулять; поначалу это я звонил ей, но вскоре и она стала мне звонить. И когда мы встречались, при этом всегда чуть-чуть присутствовал и Андреас, и наша дружба продолжала жить. Безбоязненно, невинно, безопасно.

До тех пор пока Лене не пришла в голову мысль получить через уполномоченного по архивам Министерства госбезопасности ГДР доступ к делу Андреаса. Я пытался ее отговорить. Разве не читали мы о том, как там работали эти бывшие сотрудники Штази¹,

¹ *Штази* — сокращенное название Министерства государственной безопасности ГДР (*нем.* Ministerium für Staatssicherheit). — *Примеч. ред.*

которым верить нельзя? О недостоверности протоколов, потому что составлявшие их офицеры, желая выглядеть успешными, на бумаге заставляли шпионов и подследственных говорить и делать вещи, которых те не говорили и не делали? О судебных процессах и обвинениях, которые ужесточались после ознакомления с этими делами и ни к чему не приводили, кроме разрушения человеческих отношений? Но главное: разве Андреас не смог бы сам посмотреть свое дело, если б он этого хотел, и разве не должна она уважать его желание?

Но мои вопросы и мои просьбы только укрепляли ее в решении. Своеобразная вещь — эта нынешняя страсть быть жертвой былых гонений. Словно это какой-то почетный титул, удостоверение какого-то подвига. Когда больше ничего не добился, хочется быть хотя бы жертвой. Кто был жертвой, с тем поступили плохо, а следовательно, сам он ничего плохого сделать не мог. Кто был жертвой, перед тем остальные виноваты, а сам он должен быть неповинен. Лена не многого добилась в жизни. И если сама она жертвой быть не может, ей хочется быть хотя бы дочерью жертвы. «Мой отец за свои политические убеждения был брошен в тюрьму, и хотя потом он мог снова работать математиком, но за ним все время следили» — это хорошо звучит.

Я успокаивал себя тем, что получить дело Андреаса ей будет невозможно. К делам умерших лиц доступа, как правило, не дают. Дети умерших в порядке исключения могут получить дела, но только если убедительно докажут, что с помощью этих дел хотят пролить свет на события прошлого или деяния режима ГДР. Для этого должен быть правдоподобно

заявлен обоснованный интерес. Ну и что Лена может заявить?

Андреас был математиком, как и я. После возведения Стены он предпринял попытку побега, был схвачен и приговорен, но впоследствии, проведя четыре года в тюрьме и год на фабрике, устроился в Академию наук. Он был гениальный математик, от таких не отказываются. Мы оба в шестидесятые годы были молодыми звездами кибернетики и информатики ГДР; своими исследованиями и работами в этой области ГДР обязана нам. После своей попытки побега Андреас не мог возглавить новосозданный Институт кибернетики, это пришлось сделать мне. Но когда он появился в институте, я его во многих отношениях продвигал, а те ведущие позиции, которые оставались для него закрыты, ему, я думаю, и не подходили. За годы, проведенные в тюрьме и на фабрике, он стал тихим, у него уже не было прежних организационных и творческих прожектов, он хотел спокойно заниматься своими исследованиями. Они были превосходны; статьи, публиковавшиеся в ГДР обычно как труды группы авторов, а в нашем институте — под его и моим именем, принесли институту определенную известность даже и за рубежом.

На какие события прошлого или деяния режима ГДР может пролить свет Лена с помощью дела Андреаса? Какой обоснованный интерес к нему она может заявить?

И действительно, ее запрос на доступ к делу был отклонен. Но она не сдалась. Она, как и многие из ее поколения, изучала историю и философию и — тоже как многие из ее поколения, особенно из Восточ-

ной Германии, — перебивалась случайными контрактами: полставки на полгода здесь, четверть ставки на четверть года там; ее это не устраивало. Она хотела иметь собственный исследовательский проект. Исследовательский проект в области истории науки, посвященный зарождению кибернетики и информатики в ГДР, в рамках которого она в то же время могла добраться и до дела ее отца. Вместе с одним коллегой, бездарным математиком, но одаренным очковтирателем, она подала в какой-то фонд заявку на грант. В проекте предполагалось, в частности — и в особенности, исследовать политическую функцию кибернетики и информатики в ГДР и политические взгляды основоположников направления посредством как бесед с основоположниками здравствующими, особенно со мной, так и изучения дел основоположников умерших. Еще до подачи заявки в фонд Лена корректно и вежливо спросила меня, согласен ли я на беседы, если проект будет одобрен, и может ли она указать меня в заявке.

Мы заключили сделку. Я обещал свое сотрудничество на том условии, что она из уважения к Андреасу откажется от ознакомления с его делом. Она поупрямилась, но в конце концов согласилась. Интервью со мной обещало больше откровений, чем дело Андреаса.

Я был рад. Я спас Андреаса и мою дружбу. Ничто не омрачит воспоминаний о ней. И то, что я сделал, останется тем, чем было: понятным и прощительным маленьким неверным шагом в обход нашей дружбы.

Да и что, собственно, я сделал? Андреас не стал бы на Западе счастливым. Он был задушевный, заботливый, домашний человек, созданный для глухой гэдээровской жизни, в которой имеют значение не блеск и деньги, а семья и друзья, квартира и дача, смелая книга и необычный фильм, вечер в театре и концерт. И — Паула! Они познакомились незадолго до его попытки побега, и я тогда еще не понимал, что они созданы друг для друга, но это было так. Они поженились через несколько недель после его выхода из тюрьмы, и у них были самые сердечные, самые радостные семейные отношения, какие я видал. Никогда не забуду их свадьбу. Сияющий летний воскресный день, родители, озабоченные поспешной

женитьбой и необеспеченным будущим, брюки с заклепками и пышные юбки веселых студентов — друзей и подруг Паулы (некоторые из них — с маленькими детьми), двое степенных фабричных коллег Андреаса в темных костюмах, их жены во всем великолепии блондинистых начесов, сладкое шампанское «Красная Шапочка», а после него пиво к русскому салату с сосисками — все соответствовало нам, примирившимся с нашей жизнью и нашей страной. Я был свидетелем.

Нет, Андреас не стал бы на Западе счастливым, и то, что побег сорвался, было для него благословением. Естественно, было бы лучше, если бы он сам от него отказался. Он говорил на суде, что от побега отказался и подготовку к нему прекратил, только следы ее не успел устранить. Но в его дневнике, найденном полицией, было много о стремлении к побегу и о подготовке к нему, а о прекращении — ничего, и суд ему не поверил. Не помогло ему на суде и то, что в свете предстоящего учреждения института и возможного назначения его руководителем Андреаса у него были все основания остаться. Он об этом не знал. Я тоже не должен был об этом знать, а узнал только потому, что моя подруга была секретаршей президента академии. Не хочу об этом расусоливать. Было бы лучше, если бы побег сорвался без моего участия. Если бы кто-то другой донес в полицию о том, что он в своем гараже построил скутер для побега через Балтику. Я сделал это анонимно, и Андреас меня не подозревал, потому что о подводном скутере я узнал лишь по воле случая, из-за которого о нем могли узнать и другие: электрический

замок гаражной двери сгорел в грозу, и гараж полдня стоял открытый.

Я не знаю, действительно ли он хотел остаться в ГДР. Когда я его об этом спросил, все было уже в прошлом, и он только пожал плечами: «Какое это сейчас имеет значение». Я ввел в расклад полицию потому, что хотел удержать его, ради него же самого, ну и потому, что не хотел потерять друга. Я посещал его в тюрьме так часто, как мог, я защищал его в институте, насколько мог. Он своевольничал, и, когда в институте им бывали недовольны, я его прикрывал. И я полагаю, если я и согрешил против него, то я это с лихвой загладил.

Я даже не знаю, фигурирую ли я в его деле. Как коллега — разумеется, а если к нему подсаживали «наседку», то он сообщил и обо мне, и о нашей дружбе. Но мне никогда не давали понять, что я опознан в качестве анонимного доносителя. Может быть, мне вообще нечего бояться того, что Лена заглянет в дело. Если только при назначении меня директором института партсекретарь не распинался о моей самым убедительным образом доказанной надежности в классовой борьбе.